



# СНЕГА БЫЛЫХ ВРЕМЁН

**Борис ВАСИЛЕВСКИЙ**

*Люди, побывавшим в Арктике,  
всегда хочется туда вернуться.  
Они не находят себе покоя и  
готовы многим пожертвовать,  
только бы ещё раз бросить  
взгляд на полярные льды.*

Петер Фрейßen, Финн Саломовсен  
«Арктический год»

Не столь давно, в конце прошлого года, редакция газеты «Литературная Россия» выпустила сборник «Литературная Россия: Материалы и исследования» (составитель Вячеслав Огрызко). То есть мы имеем тут дело не с хрестоматией, не с текстами самих чукотских писателей, но со статьями о них, с разбором их творчества. В аннотации так и написано: «В данной книге сделана попытка проследить все этапы формирования и развития письменных традиций чукотского народа... Среди авторов сборника – крупнейшие северо-востоковеды России и Франции, известные литературоведы, знаменитые историки и выдающиеся фольклористы...» Сборник действительно объёмный, более пятисот страниц, авторов много. В соответствии с обозначенной в аннотации задачей он разбит на разделы – от «петроглифов Пегтымеля» и «иероглифов Теневилы» до современности. До бывшей, до недавней нашей современности, точнее было бы сказать. И в этом смысле появление такого сборника – в отношении его издателя – можно расценить как поступок, по меньшей мере, отважный. Что я имею в виду? В одной из статей сборника со значительным названием «Рок судьбы», посвящённой чукотскому поэту Виктору Кеулькту, её автор В.Огрызко делает не менее значительное признание: «Увы, стихи Кеулькту уже давно ничьи души не берут» (с. 77). Я бы уточнил: их никто и не читает. И ещё уточнил бы: как вряд ли кто из широкой публики зачитывается да и просто хотя бы знает имена Владимира Тымнетугве, Василия Ятыргина, Михаила Вальгиргина, Владимира Тынескина, Сергея Тирькигина и прочих «чукотских Анакреонов». И я, откровенно говоря, не пред-

ставляю, на кого сейчас, на какого читателя рассчитан этот сборник. Это – если быть объективным и беспристрастным.

Однако мне – как человеку, когда-то жившему на Чукотке и навещавшему её потом не раз, – быть объективным и беспристрастным невозможно. Хотя бы потому, что для меня вся эта чукотская да и вообще магаданская литература – вещь до сих пор наглядная, зримая. Первая моя дорога на Чукотку в 1964 году пролегла через Магадан, и впоследствии – хотя можно было уже летать напрямик, через Анадырь, – я всякий раз, направляясь на Чукотку, всё равно летел через Магадан. Я любил этот город...

*Улетаю в Уэлен,  
Не минуя Магадана.  
Снежный плен, сердечный плен –  
Оба полны власти странной, –*

как сочинил однажды один мой герой... А в Магадане обязательно заглядывал в книжные магазины – их было немного, всего три или четыре, и один из них, помню, размещался на проспекте Ленина, как раз рядом с гостиницей «Центральная», – и набирал там разнообразной, выпущенной Магаданским издательством литературы. Всякой – от художественной до популярных брошюр вроде «Как искать золото». Или, скажем, «Памятка жителям Магаданской области о поведении в лесу, тундре, на водоёмах». («Вылов крабов разрешается одной краболовкой на человека с диаметром не более одного метра, допустимый лов – не более 10 штук на краболовку в сутки». Это по нормам 1976 года. Как теперь – не знаю. Но кто их и когда там соблюдал, эти нормы?) И даже статистические сборнички типа «Магаданская область в цифрах». Всё, всё, что казалось Севера, было тогда интересно... Кроме того, и сами эти книжечки были привлекательны, одним своим видом и размером – чуть поболее почтовой марки, если воспользоваться образом известного писателя. У французов подобные книжечки называются «Le livre de poche» – карманная книга, т.е. книга, которую можно су-

нута в карман. Действительно, для читателя весьма удобно. А Магаданское издательство, выпуская такие миниатюрные книжечки, поступало ещё, как понимаю я теперь, просто гуманно по отношению к их авторам, особенно молодым: наскрёб, допустим, какой-нибудь начинающий прозаик листиков пять своих первых рассказов или чучка-пастух, бегая по тундре за своими оленями, вдохновился на несколько стихотворений, и этот мизерный объём облеклся в обложку с именем автора, и это для молодого писателя событием было неосценимым – получалось, что у него уже есть *своя книга*...

Так вот, все эти приобретённые тогда в Магадане книжечки у меня, по счастью, сохранились, сейчас я извлёк их со своей «северной» полки и вижу, что среди них много и тех, что помняты в сборнике «Чукотская литература». Михаил Вальгирин «Вельботы уходят в море» и «Хорошо родиться на этой земле», Владимир Тынескин «Олени ждали меня», Владимир Леонтьев «Антымакле – торговый делов» и «Охотники пролива Беринга», Н.Н. Циков «Древние костры Камчатки и Чукотки», Т.Лейн «Тайна Чёртова оврага», стихи Антонины Кымытвалы и Толи Чёлкина, первые крошечные сборнички Алика Мифтахудинова «Рассказы про Одиссея» и «Головы моих друзей». И проч., и проч. Так что сейчас, листая «Чукотскую литературу», приятно находить там знакомые названия и имена... Тем более что многие из тех книг были подарены самими авторами и с такими трогательными надписями, на которые были способны только «суровые и сдержанные» северяне...

Дарил в ответ и я своим друзьям свои книжки – тоже о Чукотке, но вышедшие здесь, в Москве. Признаться, было время, когда мне очень хотелось опубликоваться в Магаданском издательстве. Я тогда писал свои первые чукотские рассказы и приступал уже к своим путевым чукотским очеркам, и казалось, где же ещё всё это и печатать, как не в Магадане? Выйти наверняка и напрямую на *своего*, на северного читателя, единственно способного по-настоящему понять и оценить то, что ты стремишься выразить. А ещё конкретнее – на читателя *узелковского*, которого я в основном и имел в виду, когда начинал писать... Но дело, признаюсь ещё, было не только в читателе. Ещё больше, пожалуй, хотелось мне, чтобы книжку мою оформил кто-нибудь из магаданских художников. В то время в Магадане жили и работали отличные художники, с некоторыми из них я был знаком, особенно мне нравились работы Вити Кошелева. Все эти ребята сами знали и прошли Север, прочувствовали его, у них выработалась своё видение и свой стиль. Им не надо было объяснять, как выглядит море, и лагуна, и коса между ними, и посёлочек на этой косе, и тундра за лагуной, и сопки на горизонте. Им не надо было растолковывать, как я однажды одному «материковскому» художнику, что хвост кита расположен вовсе не так, как у рыбы, – не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости, и даже рисовал ему для наглядности. А он, сам ни разу не видавший этого кита, ещё и не верил, и мне приходилось отсылать его к классике, т.е. к известным иллюстрациям Рокуалла Кента к «Моби

Дику», а также непосредственно к тексту самого этого романа, а в нём непосредственно к главе LXXXVI – «Хвост». «Горизонтальный по своему положению хвост левиафана действует отлично от хвостов других морских тварей. Он никогда не виляет. Влияние – у человека ли, у рыбы ли – есть признак слабости...» И: «Чем больше думаю я о могучем китовом хвосте, тем горше я сетую на своё неумение живописать его»...

Ну короче – как хотелось мне, чтобы книгу мою читал прежде всего свой, северный читатель, точно так же хотелось, чтоб и обложку к ней рисовал тоже художник-северянин... Но... так, к сожалению, и не довелось мне выпустить самую первую мою чукотскую книжку в Магаданском издательстве. Зато навсегда врезался в память его тогдашний адрес: Пролетарская, 15. И вид: где-то на самом краю Магадана, и с одной стороны, повыше, расположились массивные здания бывшего «Дальстроя», затем «Северостозолота», там же и обком, и, кажется, СВГУ, в стиле ещё сталинской архитектуры, а с другой стороны, внизу, над каким-то оврагом прилепилось это приземистое, одноэтажное строение, типа барака, с открывающимся за ним видом на заболоченный унылый пустырь. Скорее всего, некогда это и был барак и очень может быть, что лагерьный. Тоже, в общем-то, сталинская архитектура... А потом я и сам оставил эту идею – напечататься там. Даже когда пошли у меня другие книги о Чукотке, даже когда написал роман «Конечная Земля» – фактически о своём Узелке. Почему? Не сразу, но мне показалось, я это понял. Ничего личного, и атмосфера в издательстве, когда заходил туда, ощущалась какая-то уютная, располагающая, и женщины-редакторши какие-то все милые, доброжелательные, и я их всех помню, но... окончательное решение насчёт автора, видимо, исходило из невыговоренного вслух, однако чёткого противопоставления: свой – не свой. Наш – не наш... Дифференциация, в общем-то, извечная и понятная и, если уж на то пошло, мы были в этом схожи: как мне хотелось иметь дело прежде всего со своим, северным читателем, так и издательству прежде всего хотелось печатать своего, северного писателя. А под северным писателем понимался не только пишущий о Севере, но и живущий там же, на Севере. Осевший там *на-всегда*... Даже у Алика Мифтахудинова это однажды проскользнуло, в одном из его писем, где он, не помню в связи с чем, но вдруг написал мне, что если доведётся выбирать, то лично он всегда предпочтёт «живого магаданца уехавшему москвичу». Буквально так. «Уехавший москвич», разумелось, был я...

Но я не обиделся на этот неожиданный выпад Алика, воспринял спокойно. У меня вообще не было вот этого комплекса – обязательно зачислиться в какие-то ряды, стать там *ангелом*... До Чукотки у меня была ещё Сибирь с Ангарой, ещё прежде – детство в деревне под Зарайском, кроме того, я никогда не забывал, что родина моя в Москве, и не *вообще* в Москве, а на *Пресне*. И всё это я тоже продолжал помнить и любить и надеялся когда-нибудь написать об этом, так что Север не явился для меня единственным светом в

окошке. Поэтому меня не задел даже знаменитый вопрос Олега Куваева, которым он начал и которым завершил свою «Территорию»: «Так почему же вас не было на тех тракторных саях и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер?» – вопрос, покоровивший тогда многих его читателей. Вопрос был исполнен того, что я называл «северным снобизмом». И сам всегда мог ответить (и отвечал): «А потому что находился в это время несколько северо-восточнее, и никакими тракторных саях не было, топал на своих двоих». Но и в моём ответе того же снобизма содержалось не меньше. Все мы, побывавшие и поработавшие на Севере, тогда им грешили, этим «северным снобизмом», кто в большей, кто в меньшей степени, но со временем это, слава богу, проходило... А с Аликом мы были давно друзьями, познакомилась, когда я ещё жил в Уэльне, а он прилетел туда в командировку, тогда же и подружился, и по нашему северному кодексу дружбы обижаться на друга не полагалось, его полагалось понять. И я понял. Мифта, как мы его называли, заделась тогда каким-то там секретарём... я до сих пор не разбираюсь в этих должностях... в общем, стал кем-то вроде главного магаданского писателя, и я понял, что он проник своим назначением и почувствовал себя ответственным за судьбу всей, вверенной ему магаданской литературы... Я, конечно, мог бы ему объяснить, что, прожив в Уэльне безвыездно «три года незаметных», во все эти три года не написал о нём ни строчки, и не ощущал никакой в том нужды, потому что мне было достаточно самого Уэльна, и оставаясь я там всю жизнь... – ну, словом, ясно... Но я почему-то не стал писать Алику об этом, просто сделал для себя вывод, что подтверждать, что я, хотя и «ухавший», но всё-таки «живой», мне придётся через московские издательства и журналы...

И что-то ведь получалось! При тогдашних тиражах книги, вышедшие в столице, доходили и «до самых до окраин». Помню, я снова приехал на Чукотку, уже в командировку от какого-то журнала, кажется, от «Вокруг света», и какой-то незнакомый парень, услышав мою фамилию, воскликнул: «А знаешь, что я из-за тебя свой самолёт пропустил!..» Выяснилось: он сидел в анадырском аэропорту, дожидаясь рейса к себе в Беринговский, читал мою книжку «Где Север?» и – прослушал объявление на посадку. И его самолёт улетел без него... Кто бы понимал. Самолётов в чукотских аэропортах ожидают, бывает, неделями. А в Беринговский, особенно если зимой – и по месяцам... В другой раз мы собрались за столиком в ЦДЛ в очередную годовщину смерти Куваева, помануть его, были там и «живые» северяне, и «ухавшие», но все знали и помнили Олега, и

женщина, сидевшая рядом со мной – она оказалась преподавательницей Анадырского педучилища, – сказала мне: «Мы ваши учительские рассказы используем как методическое пособие...» А я там описывал, как мой герой только что приехал на Чукотку, учителем в школу, и мало ещё что смыслит и в Чукотке, и в особенностях тамошнего преподавания, и как то и дело возникают у него в общении с учениками-чукчами всякие непредвиденные, парадоксальные ситуации, и как ему приходится из них выпутываться... И вот, оказалось, эти мои рассказыгодились для подготовки будущих чукотских учителей... В общем, вот эти два отклика на мою книжку, малопонятные чьему-нибудь постороннему уху, я не променял бы и на тысячу самых лестных рецензий...

Однако – всё это уже, как говорится, плюсквамперфект: «снега былых времён». Соцтём неизбежным лирическим отступлением. Возвратимся к тому, с чего начали: что мне трудно быть объективным в отношении как сборника «Чукотская литература», так и самой чукотской литературы. Из только что сказанного уже, наверное, понятно, почему. Но – «разберём ещё на конкретном примере», как говорил я когда-то на своих уроках. Вот поэт Михаил Вальгиригин (1939 – 1978). В «Чукотской литературе» его жизни и творчеству отведено довольно много страниц.

Нём написал В.Христофоров «Но нет конвертов для сердец», А.Трапезников «Памяти Вальгиригина», С.Караот «У линии перемены дат», О.Рычкова «Дневники Питицы», Мелькает его имя и на других страницах. И действительно: один из самых, кажется мне, значительных чукотских поэтов. Выпустил несколько сборничков. Печатался не только в Магадане, но и в Москве, в таких журналах, как «Наш современник» и «Новый мир». Необыкновенна и судьба его: в девятнадцать лет был застигнут в тундре пургой, обморозился, в результате остался без ног. Однако нашёл в себе силы для работы не только за письменным столом, но продолжал выходить на вельботе в море, охотником-стрелком. Опять же – кто может себе это представить... Один из критиков называет его даже «чукотским Мересьевым, который сумел подняться в небо силой своего поэтического дара» (с. 313). Наверное, впрочем, близкое, «на поверхности»...

С самим Вальгиригиным я, к сожалению, знаком не был, он жил в Уэльске, это на выходе из залива Креста, и мне там бывать не приходилось. В Эгвекиноте однажды был, а в Уэльске не довелось... Зато хорошо знал основного переводчика Вальгиригина – поэта Анатолия Пчёлкина (1939 – 2002). Жил и работал в Магадане, но если, напри-



мер, Мифтахудинов и многие другие (да в общем-то все!) магаданские литераторы без этого определения: «магаданский поэт», «магаданский прозаик» – не воспринимались, то Пчёлкин в подобной, «сужающей» и как бы «заранее предупреждающей читателя» географической привязке не нуждался, он сам по себе был хорошим, крепкий, а в иных своих стихах – просто превосходный поэт. Умный, точный и честный. А лучше сказать – интеллигентный, что включает в себя все три предыдущих эпитета. (Хотя любил представляться эдаким выдавшим виды работягой.) Мог беспощадно отозваться о каком-то другом человеке, но и о себе был способен сказать тоже беспощадно... В «Приложениях» к «Чукотской литературе» о нём написано: «Он, увы, умел часто и быстро наживать врагов. Причём ладно бы по каким-то принципиальным вещам. Он нередко вспыхивал и задирался буквально из-за пустяков» (с. 532). Не знаю. Что «нередко вспыхивал и задирался» – верю, но вряд ли «из-за пустяков». Просто он очень тонко чувствовал и безошибочно распознавал в человеке то, что для иного, невнимательного взгляда выглядело «пустяком», а для него самого оказывалось существенным и принципиально неприемлемым...

Но в наших с ним отношениях ничего такого, никаких таких «вспыхиваний и задираний» не случалось. Подружились мы не сразу, но с первой же встречи ощутили для начала какую-то взаимную безоговорочную симпатию. На литературном поле делить нам было нечего – тем более что он был поэт, я прозаик, – а меряться «любовью к Северу» было глупо. У каждого из нас он был свой... И вообще я всегда считал и считаю до сих пор, что писатели вовсе не выстраиваются в ряд на единой гаревой дорожке, срываясь по чьему-то хлопку, и не соревнуются, поминутно оглядываясь друг на друга, кто убежит быстрее и дальше, но каждый в свой черёд и в одиночку выходит на свою дорогу, и идёт в своём, одному ему назначенном направлении, и ищет там что-то своё. Подчас даже не отдавая себе отчёта, что именно... Взгляд, в общем-то, естественный, нормальный. Думаю, что Толя считал так же... Встречаясь с ним в Москве или в Магадане – и в последние годы чаще у меня в Москве, чем у него в Магадане, – мы как-то не говорили ни вообще о литературе, ни тем более «о дальнейших путях развития магаданской литературы». Ни тем более «о положении дел в магаданской писательской организации», о которой кто-то из московских литературных начальников, съездивший туда в командировку, отозвался с изумлением: «У них там всего три писателя, зато пять враждующих группировок!»... Встретившись, мы просто бывали рады друг другу и сидели нормально пить водку. И не надо было объяснять один другому, что может чувствовать человек, наконец-то вырвавшийся из Москвы на свой Север... Или наоборот: вырвавшийся в Москву со своего Севера... По его стихам и по его настроению в последнюю нашу встречу очень ощущалось, что Север стал ему тесен, что он давно вырос из него, т.е. из того жёстко регламентированного, непременно «восхищённого» восприятия Севера, которое там же, на Севере, самими

же писателями-северянами когда-то было задано и пересмотру с тех пор не подлежало. В сборнике «Глубина вдоха» (Магадан, 1989), который он мне тогда надписал и подарил («с чувством сложной любви»), есть небольшое, но произносящее какой-то безысходности стихотворение «Провинция». Хочется привести его полностью.

*Как ты мелка, провинция, о боже,  
как честь свою замшистую блодёшь!  
В толпе твоей незримым не пройдёшь  
и выделиться в ней  
опасно тоже.*

*Ее гиттерифицированный  
скор на язык и лёгкой на расправу.  
Умри! – иль выбери одно из двух:  
вдохнуть всю жизнь её тлетворный дух  
иль пить как мёд  
молвы её отраву.*

*Сойди на нет, понижки головой,  
да не болит коробка черепная  
о том, что ты – увы – ещё живая  
и что она –  
увы! –  
всегда живая.*

Это стихотворение – тоже о Севере, и думаю, оно лучше, чем я, пояснит, что я хотел сказать... Да, наступил однажды момент – мы и не заметили, как! – когда этот Север, который мы чуть не обожествляли и полагали единственным достойным местом для достойного приложения сил, где ещё сохранялась и обостренно чувствовалась свобода, где исключительно водились люди особенной, высокой породы, «гордые и крепкие, как льявы», а прочие просто не приживались, отторгались сразу и бесповоротно, где даже самый последний бич смотрелся лордом в своём великопном пренебрежении к обычным, «материковским», «добропорядочным» представлениям о жизни, где... ну, словом, вот этот наш прекрасный и возвышенный Север превратился как-то мгновенно и для нас неожиданно в заурядную провинцию. Причём не в том своём патриархальном, наивном и всегда милым сердцу обличье, но в провинцию в самом худшем значении этого слова. Туда вдруг прихлынула масса постороннего и чуждого Северу люда, со своими, вывезенными с материка, устоявшимися «коммунальными» понятиями и привычками, со своими, весьма убогими и приземлёнными, однако весьма агрессивными устремлениями. То есть публика эта накапливалась там, может быть, сначала исподволь и незаметно, но в какой-то момент оказалось, что её там уже очень много, так что не замечать её стало уже невозможно... Вот о такой провинции и прорвалось у Пчёлкина в его стихотворении, её «тлетворный дух», думаю, начал ощущать и Алик, только продолжал «делать вид» и отстраняться, судорожно ещё цепляясь в своих вешах за «старый, добрый Север», эту утраченную себя провинцию очень прочувствовал и я, ещё в 60-х, под конец своей жизни в Уэлене – может, потому и решил тогда уехать...

Однажды мне даже пришло в голову, что мы сами, воспевавшие Север, отчасти и были виноваты в таком столь неприглядном его преобразении: мы *обозначили место*. «Засветились», как нынче принято выражаться. Помню, я опубликовал в «Вокруг света» свой очерк о Билибино, а когда приехал туда в следующий раз, тогдашний и уже знакомый секретарь райкома Валентин Васильевич Лысковцев, завидев меня, воскликнул: «А, вот и он, виновник тысяч писем!»... Выяснилось, что после моего очерка к ним посыпались письма – «со всех концов страны», – и пришлось даже выделить специального работника – чтоб отвечал на те письма. И помню, такая популярность меня не обрадовала, подобные письма получал и я, суть их, после необходимого объяснения в «давней и непонятной любви к Северу», сводилась к двум вопросам: «Как туда доехать?» и «Сколько там платят?». Тот мой очерк был *романтический*. После, когда я перешёл к очеркам «деловым и проблемным», т.е. стал писать о повседневных янтейских заботах северян, в том числе и о зарплатах, письма продолжали приходить, но вопрос уже оставался один: «Как проехать, как устроиться?»... Вот я и пришёл к выводу, что помалкивать бы нам надо было про наш дорогой Север и про свои, особенно любимые там места... Однако это всё так, как говорится, из области грустного юмора – конечно же, признали бы, разведали бы и без нас...

Но вернёмся к нашим поэтам. Общеизвестно, что в советские времена многие русские писатели вынуждены были браться за переводы «братьев наших меньших» из элементарной нужды, по соображениям чисто материальным, и иногда даже не скрывали, что тяготились этим занятием. (Вспомним хотя бы знаменитое признание Арсения Тарковского: «Ах, восточные переводы, / Как болит от вас голова!»), – вызвавшее тогда же, соответственно, бурное негодование некоторых наших «восточных» поэтов...) Не знаю, как пришёл к идее переводов Пчёлкин – думаю, всё же, что не только как к «заработку», но как к ещё одному способу проникновения в тот мир Севера, в котором он жил, – однако несомненно то, что к своему переводческому делу он старался относиться добросовестно и творчески. Кроме того, был дружен с самим Вальгириным. Так что с переводчиком этому чукотскому поэту повезло...

Повторяю, сам я – сутубый прозаик, и мне трудно судить о стихах, тем более о стихах в *переводе*. Но при имени Вальгирина сразу вспоминаю: «Вельботы уходят в море». Я знаю: это название его стихотворения, ставшее названием и всего вальгиригинского сборника (Магадан, 1970). Мне это название, честно говоря, не нравится, оно откровенно расхожее, из тех самых времён, когда всё у нас только и делало, что куда-то уходило, улетало, уплывало, собиралось, отправлялось... Корабли в поход, самолёты в полёт, шахтёры в забой, металлурги к печам, комбайны в поля, лесорубы в тайгу, геологи в маршрут, пастухи к стаду, пограничники в дозор... и т.д. и т.п. И за всем этим подразумевался с виду, конечно, будничней, а на самом деле героический труд, наш общий неустанный труд – «на бла-

го»... Под стать названию и само стихотворение – тут весь набор необходимых, очень мужественных строк: «С рассветом уходят вельботы... Натужно утжогат моторы... А волны вздымаются круто... Но мы передышки не просим... Такая работа...» и проч. Не представляю себе, как «моторы» могут что-либо «утжогать»... Что же до «круто вздымающихся волн», то это, мягко говоря, поэтическое преувеличение – в такую погоду и охоты никакой не получится, да и в море выходить просто опасно... Лучше бы, думаю я, вынести в заголовок сборника название какого-нибудь другого стихотворения. «Косати играют», например. Или, на худой конец, «О чём поют полозя». («Воспевают те пути, / что не раз ещё приснятся, / когда будут позади...») Подозреваю, что не сам Вальгирин выбирал и утверждал название для своего сборника, и не переводчик его Пчёлкин – сделал это наверняка какой-нибудь издательский начальник. Желая, конечно же, начинающему поэту добра... Но что ж теперь? Те-



**Крест в память С.Дежнёва, 1978**

перь, перефразируя известное обиходное выражение: вельбот ушёл. И давно...

А с другой стороны... Эти вельботы...(Кстати: у кого-то из авторов сборника промелькнуло: «рыбачий вельбот». «Рыбачими» могут быть какой-нибудь баркас, карбас, шаланда, дора, но обозвать «рыбачими» вельбот – считаю, просто оскорбить это хотя и небольшое, но с прекрас-



ными мореходными качествами судно, созданное специально для *морской охоты*. Обратиться хотя бы к этимологии: «whale-boat» – китобойный бот. И эскимосы, и береговые чукчи – все прирожденные мореходы и морские охотники – сразу оценили эти вельботы, выходили на них в море и добывали нерпу, и латхака, и моржа, и самого кита...) Мне повезло: я получил возможность составить понятие о вельботе, едва приехал на Чукотку. Погода в конце августа стояла нелетняя, просвета не предвиделось, а до начала учебного года оставалось несколько дней, и меня из Лаврентия отправили в Уэлен на вельботе. Вот так сразу посчастливилось пройти от одного океана до другого, через весь Берингов пролив, вокруг мыса Дежнёва – вожденная мечта мореплавателей всех времён и народов... И тогда же увидеть вынырывающих возле самого вельбота моржей, и фонтаны китов неподальку, и те самые *хвосты*, медленно и наискось уходящие в морскую пучину, и стелющиеся низко, почти вплотную, над волнами стан топорков и кайр. Впрочем, путешествие это я однажды где-то уже описал...

А в самом Уэлене любил приходиться на берег, он был в нескольких шагах от дома, и смотреть, как охотники снаряжаются в море, а после возвращаются с добычей; ещё там рядом была сопка с маяком над обрывом, откуда вельботы можно было разглядеть совсем вдалеке, возле самого горизонта, там же неподвижно стояли льды, множество разбросанных по гладкой, как стекло, поверхности моря льдин, и вельботы от них можно было отличить только по расходящимся тонким морщинкам волн. По этим морщинкам можно было определить и направление движения вельботов: если они удалялись, морщинки расходились в сторону берега, если возвращались домой – то в сторону горизонта... Пока я спускался с сопки, вельботы с моржами на буксире уже причаливали, в туши моржей, чтоб не затонули, были воткнуты гарпуны с привязанными к ним «пыгыгами», надутыми нерпичьими шкурами... Вельботы сразу вытаскивали на берег; а моржи оставались перекатываясь в лёгком прибое, переваливались там с боку на бок, как-то мирно, по-домашнему, и лапты их сваливались со стороны на сторону, словно у живых, только вода вокруг была красной... Приходили на берег дети, мои ученики, они брали у охотников, у своих отцов и старших братьев, карабины и несли их домой. Некоторым приходилось тащить по два, по три карабина... Подъезжал старенький колхозный ДТ-75, моржей цепляли тросом за клыки и выволакивали на берег. И кто-нибудь из детей обязательно вскакивал при этом на широкие задние лапты – чтоб прокачаться... Начиналась разделка. Подходил, опираясь на палку, какой-нибудь старик. Охотник двумя-тремя взмахами длинного отточенного ножа отхватывал большой кусок мяса, протыкал его посередине, протягивал старику, тот просовывал руку в прорезь и брёл к себе домой, неся на согнутой руке этот кусок мяса, будто муфту...

Словом, я опять к тому, что, если вам есть что самому вспомнить при виде строчки «Уходят вельботы в море», то вам всё равно, исполнена

эта строчка каких-то особых поэтических достоинств, не исполнена, – вы неизбежно принесёте в неё собственное воспоминание, дополните вашим воображением, и одним тем же, что оказалась способна пробудить вашу память, эта строчка будет вам дорога... Могу бы, для большей ясности, сравнить эти стихи ещё с прибрежной галькой – у меня до сих пор сохраняются несколько таких вот, плоских, округлых, гладких, окатанных камешков, светло- или тёмно-серого цвета, с виду самых обычных, но ценных для меня тем, что они *оттуда*, с уэленского берега. Я помню, какими красивыми казались они, когда то и дело окатывало их прихлывнувшей волной, как они там сверкали, играли, отливали влажным глянцевым блеском. И знаю: если вернуть их туда, т.е. снова поехать, как когда-то, в Уэлен и бросить на берегу, где они когда-то лежали, они опять сделаются красивыми. Заиграют... Потому не стану говорить о других чукотских поэтах, ни об их стихах – принцип моего, весьма личного их восприятия, надеюсь, понятен...

Однако о некоторых впечатлениях общего свойства надо сказать. Эти впечатления – не от самой непосредственно чукотской поэзии, знатоком которой я не являюсь, – они от прочтения сборника «Чукотская литература». И чуть ли не главное из них: все эти чукотские поэты, их творческие, а следовательно, и личные судьбы находились в страшной зависимости от переводчиков. А переводчики и сами были поэтами, со своими собственными амбициями, проблемами и устремлениями, со своими, исправно чередующимися взлётами и провалами. И было их там, в Магадане и на Чукотке, в общем-то, наперечёт... Поэтому очень всё понятно, когда читаешь, например, о Тынеснике: «Выпустил единственный поэтический сборник «Олены ждали меня» (1978), который писал больше пятнадцати лет (и который около десяти перевёл Анатолий Пчёлкин). А вошло в него всего 18 стихотворений и поэма, давшая название книге» (с. 412). Или о Тирькигине: «Уже в середине 1980-х годов Пчёлкин от переводческой деятельности практически отошёл. Тирькигина это серьёзно подкосило. Едва сделал первые в литературе шаги, он фактически остался без учителя и оказался предоставленным самому себе» (с. 473). Ещё о Тирькигине: «Если Рачёткину удалось бы в 1990-е годы издать книгу Тирькигина в своём переводе, наверняка творческая судьба чукотского поэта сложилась бы несколько иначе и была бы чуть счастливее» (с. 535)... И т.д.

Кроме того, все эти поэты-переводчики, хоть и «патриоты Севера», но являлись на Севере людьми т.н. «приезжими», от культуры «коренных народов» они были, естественно, далеки, многое в ней им самим только ещё предстояло постигать. «Одно из главных условий, обеспечивающих высокое качество переводов, – хорошее знание Севера, местных условий жизни, традиций коренных жителей», – справедливо пишет В.Огрызко в заключительной статье сборника «Чукотская литература» «Перекрёстки перевода» (с. 433). И что тут возразить? Однако

это всё – в прекрасном идеале, а когда, где и в чём оно осуществлялось полностью, такой идеал?.. Поэтому даже от Антонины Кымытваль, можно теперь сказать, классика чукотской поэзии, слышишь следующее признание: «Я стала бояться неточных переводов. Дошло до того, что каждый свой поэтический сборник, изданный на русском языке, я года три не могу взять в руки. Иначе начинаю расстраиваться чуть ли не из-за каждого стихотворения... Большинство переводов пока получаются далёкими от оригиналов». (С. 356) Но что же делать? Кэлюкъям мингъяри, как говорят чукчи – ничего не поделаешь. Никто из приезжих поэтов, разумеется, не мог знать чукотского языка, все они переводили по подстрочникам, а, как заметил ещё Пушкин, «подстрочный перевод никогда не может быть верен». (Что же касается Тони Кымытваль, она, мне кажется, давно уже т.н. «биллинг» и сама могла бы стать далеко не худшим переводчиком своих стихов. И издавать их не по отдельности – на чукотском и на русском, а размещать эти тексты параллельно, в едином сборнике... Есть у меня, например, такой сборничек французской поэзии, от Вольтера до Аполлинера, в переводах русских поэтов, от Ломоносова до Бунина: слева страничка оригинального, французского текста, справа, рядом, страничка того же текста по-русски. Смотрится весьма неплохо... А для читателя Кымытваль, понимающего по-чукотски, было бы ещё и небесполезно: он имел бы возможность тут же слышать...)

Ещё одно, немаловажное, на мой взгляд, соображение... Подавляющее большинство тогдашних «энтузиастов Севера» приезжали на этот Север с уже готовым представлением о нём – по многим книгам, по Т.Семюшкину «Алигет уходит в горы», по фильму «Семеро смелых» и т.д. И с той, может быть, даже до конца не осознанной, но всё-таки заранее сложившейся в голове установкой, которая в сборнике обозначена термином «выравнивание» (с. 159), а я для себя, по-учительски, обзываю неслестно «общей программой». Тана-Богораза они вряд ли читали, но уж Ленина-то, разумеется, читали, а если и невинительно и не *всего* Ленина, то принципы «ленинской национальной политики» усвоили хорошо. А Чукотка тех времён, т.е. 1950-х – начала 1960-х гг., была ещё такова, что там спокойно можно было чувствовать себя первопроходцем и начинателем. Поле деятельности представляло необозримое... Вот они и принимались – партийные и хозяйственные работники, строители, лётчики, учителя, врачи, пекари, повара и т.д. – возводить дома, клубы, школы, больницы, переселять чукчей и эскимосов из яранг в дома, собирать детей в интернаты, прокладывать новые воздушные пути, налаживать быт, завозить с материка топливо и продовольствие, учить, лечить, кормить... Искренне желая, чтобы всё у этих чукчей с их «многовековой отсталостью» поскорее сделалось, «как у нас»...

Впрочем, и написано об этом тоже необозримо много, в том числе и в разбираемом нами сборнике, могу так же отослать заинтересовавшегося читателя к книжечке воспоминаний В.Ивакина «Между двух океанов» (Магадан, 1986).

Этот человек приехал на Север в молодости, после фронта, и отдал ему, а конкретно Чукотскому району, практически всю свою жизнь. (Для читателя несведущего: Чукотский район – это далеко не вся Чукотка, это лишь небольшая часть её, самая оконечность Чукотского полуострова.) Так вот, изъездил там за эти годы на собаках, исплывал на байдарках и вельботах, исходил пешком тысячи километров и во всякую погоду. Однажды даже прыгал с самолёта – с маленькой нашей «аннушки», безо всякого, разумеется, парашюта, на «бреюшем». Подлетели к Уэлену, дом – вот он, рядом, а сесть невозможно. Пурга начинается: сидишь, потом не взлетишь. А он дождался месяца этого самолёта. Вот Валентин Алфревич, договорившись с лётчиком, и спрыгнул... Знаю обо всём этом даже не по его книге – в те годы, что я учителем в Уэлене, он работал там председателем колхоза. Мы дружили, и я был в курсе всех его хозяйственных начинаний, успехов и многих его, казавшихся поначалу неосуществимыми идей... Так что могу засвидетельствовать: и он, и многие другие, приехавшие тогда на Север «по зову», трудились там честно, на совесть, с предельной отдачей, главное же – с верой в безусловное благо своей работы. И чувствовали себя счастливыми. Тем и закончил Ивакин свои воспоминания – что счастлив... Из Уэлена его потом перевели в «Лавру», как называли мы райцентр Лаврентия, затем и в Магадан, но «с особым ощущением счастья», как сам он мне не раз говорил, он всегда вспоминал наш Уэлен. Как «лучшую часть своей жизни». Могу его понять...

Но я здесь в связи с чем... При чтении «Чукотской литературы», в особенности разделов, посвящённых поэзии, не оставляет мысль, что и наши, приехавшие на Север с материка поэты приступали к переводам поэтов чукотских исходя из той же идеи «выравнивания», из того же искреннего желания помочь, подтянуть, как-то подвстать к уже существующей великой русской поэзии. Поскорей переселить этих «младодетямников» из их буколических, но примитивных яранг в давно обжитой и благоустроенный общий дом нашей литературы... Известно определение Жуковского: «Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах – соперник». Наши – назовём их условно всех «магаданскими»,



Дети тундры

хотя иные жили и на Чукотке, – поэты, они же переводчики, ни о каком таком «соперничестве» благородно не помышляли, напротив, ощущали себя доброжелательными «наставниками», «учителями». А чукотские поэты были для них «подопечными», с которыми требовалось «вести целестремлённую и кропотливую работу». (См. «Чукотскую литературу», с. 445.) Пример такой работы на той же странице: «Внимательный переводчик не только объяснил своему подопечному, что такое сюжет и композиция, но и давал списки книг для чтения: Пушкина, Лермонтова, Фета, Горького, а затем подолгу беседовал с ним о прочитанном»... Знакомить с Пушкиным, Лермонтовым и Фетом само по себе, конечно же, прекрасно, но к чему она ещё могла привести и приводила, эта «целестремлённая работа»? Естественно, к потере начинающим поэтом своей оригинальности, самобытности, к её извещению ещё на корню... Когда долго печатаешь на машинке или набираешь на компьютере и устаёшь, начинают проскакивать невольные опечатки. К примеру: *стихотворение*. Однажды я взгляделся и понял: да это же термин! Вот примеров такого «стихотворения» в имеющихся у меня сборниках чукотской поэзии можно отыскать великое множество... И они – не только результат «целестремлённой работы» учителей, но и следствие прямо детской доверчивости и такой же детской восприимчивости учеников. С одной стороны – «целестремлённость», с другой – доверчивость. «Чем народ первозданней, самобытнее, тем он чище, доверчивее» – как сформулировал однажды один мой герой. И эту доверчивость, и её последствия приезжим доброжелателям надо было бы учитывать в первую очередь...

Много чего надо было учитывать! Не забуду, как однажды я, молодой учитель, решил сходиться со своими шестиклассниками «в поход», в старинное эскимосское селение Наукан. Это километрах в двадцати от Уэлена, через тундру, сопки, распадки. Снова через сопки... Был сентябрь, начало осени, но уже выпал первый снег. Мы брели по этому снегу, переходили вброд через незамёрзшие ручьи и речки... Наукан стоял на крутом обрыве, над Беринговым проливом, кругом было дикое нагромождение скал. Место необыкновенное!.. В самом селении никто уже не жил, но там же был маяк, при нём станция, где проживали четыре человека, обслуживавшие этот маяк. На этой станции мы переночевали, на другой день двинулись обратно, нас застигла... настоящей пургой не назовёшь, но что-то вроде слабой метели – ветерок со снегом... Впечатлений, в общем, было предостаточно. У меня, по крайней мере... После, как водится, я задал своим ученикам написать сочинение об этом путешествии. Ожидая от них, естественно, какого-то взрыва чувств. Но получил спокойные и точные отчёты: сколько ручьёв перешли, где повернули, где был подъём, где спуск, где останавливались на привал... Ни слова о «непередаваемой красоте окружающей природы», о собственных «незабываемых ощущениях»... – только приметы пути. Я понял: они, дети тундры, описали самое важное и самое интересное для себя... И старики-чукчи, которые так любили светлыми летними ночами

сидеть на берегу моря... – они, глядя на морскую гладь, на застывшее над горизонтом солнце, вовсе не медитировали, не погружались в воспоминания, не предавались размышлениям о прожитой жизни, они, как догадался я однажды, по каким-то своим, только им известным приметам определяли, какая завтра будет погода. И соответственно – какая охота... А русская классическая поэзия, на которой воспитывались и на которую невольно ориентировались наши магаданские поэты в общении с чукотскими, – это на девятую процентов именно оттенки ощущений, воспоминания, размышления, грусть о былом, «природа»...

Да, можно бы, конечно, предположить, что чукотская поэзия оказалась столь уязвима оттого, что была ещё очень молода, находилась, можно даже сказать, в младенческом состоянии и собственный опыт её был ничтожен – ведь и создание самой чукотской письменности в нынешнем её виде исчисляется всего-то с начала 30-х годов прошлого века. Но возьмём искусство танца или резьбы и правиков на моржовых кляках – тут, безусловно, ощущалась великая древность, тот самый первоבתный синкретизм, наглядно дошедший до наших дней... Однако даже эти многовековые традиции не устояли – сам, к сожалению, мог наблюдать, как постепенно и неуклонно доставал их общий наш «прогресс». Приехал как-то в Москву из Анадыря на Всесоюзный смотр художественной самодеятельности чукотско-эскимосский танцевальный ансамбль «Эргырон». Я, конечно же, пошёл. Впечатление было довольно мрачное. Ничего от тех танцев, на которые я с таким наслаждением смотрел когда-то в маленьком уэленском клубе, не осталось. Взвзвон получился некий «балет». А художественный руководитель, которого я специально отыскал за кулисами, чтоб поговорить – молодой парень, сам родом из Ленинграда, – ещё сетовал, что никак не могут эти чукчи и эскимосы освоить какой-то там «длинный шаг», забывают «тянуть носок»... При чём там был этот «длинный шаг», при чём «носок»? Танцы эти зародились и исполнялись в долгие полярные вечера, в тесноте зимних яранг, ноги там вообще не участвовали! Вся экспрессия сосредотачивалась в движениях туловища, головы, рук. Видел бы он, как великий Нутетейн воспроизводил свой «Полёт чайки против ветра» – практически не сходя с места!.. Но теперь, говорят, и «Эргырона» с советским его названием («Рассвет») давно нет, теперь там какой-то другой, ещё более современный ансамбль, и танцоры его наверняка уже обучились «тянуть носок»... А в истории уэленской костерезной мастерской был такой peculiarный период, когда десантировали в неё «для усиления» бригаду резчиков из Холмогор и тем самым столкнули две совершенно различные традиции, два далёких друг от друга стиля. Чукотские резчики работали в своей исконной монументальной, строгой, лаконичной манере, вырезали в основном фигуры животных, холмогорцы совершенствовались в сквозной, узорчатой резьбе, выделывали вазы, ларцы, шатулки. И тоже принимались «учить». И тоже не без успеха... Об этом, впрочем, также много написано, об



этом можно прочесть у магаданского искусствоведа Л.Е. Тимашевой в её работе «Современная чукотско-эскимосская резная кость» (Магадан, 1967), упомянуто в книге московского искусствоведа Т.Б. Митлянской «Художники Чукотки» (Москва, 1976), не раз писал и я в своих очерках... Шла борьба за сохранение самобытности в чукотском костерезном искусстве, и чего-то удавалось всё-таки отстоять... Теперь же, когда искусство это, по слухам, открыто коммерциализовалось, всякие такие проблемы – «преemptивности», «чуждых влияний», «возвращения к

возможность узнать об Айнаквыргине Емельяне, «чукотском литераторе», который «11 декабря 1966 года опубликовал в газете «Советская Чукотка» на русском языке рассказ «Испытание» (с. 449). Или о Воттыргине, другом «чукотском литераторе», написавшем стихотворение «Омолон», также напечатанное в газете «Советская Чукотка» (с. 454). И всё... Странно. Об авторе одного рассказа или одного стихотворения сообщается, а об авторах целых поэтических книг – нет. Не столь ведь и много имён в едва зарождающейся чукотской литературе! И каким принци-



традициям» и т.п. – отпали сами собой, теперь диктует не «художественность», но «заказ и спрос»... И таких мастеров-резчиков, как Хухутан, Вуквутагин, Туккай, таких гравировщиц, как Эмкул, Тынатвал, Янку, – у которых каждая созданная ими фигурка, каждый расписанный клык были единственны, неповторимы, – таких художников, конечно, уже не будет...

О нынешнем состоянии чукотской поэзии в сборнике «Чукотская литература», к сожалению, ничего не говорится – впечатление, что история её оборвалась где-то на рубеже конца 1980-х – начала 1990-х годов. Все имена – из тех ещё времён, новых нет. Но и прежние упомянуты не все. Не сказано почему-то ни слова о двух несомненно талантливых эскимосских поэтках – Татьяне Ачиргиной (род. в 1944-м) и Зое Ненлюмкиной (род. в 1950-м). Были в своё время участниками различных всероссийских литературных семинаров, получили различные премии. У каждой вышли собственные сборники стихов: у Т.Ачиргиной «Белоночь» (Магадан, 1982), у З.Ненлюмкиной – «Птицы Наукана» (Магадан, 1979). Стихи Ненлюмкиной уникальны ещё тем, что написаны на научанском диалекте эскимосского языка, теперь, – и опять же без доброго попечения властей! – практически исчезающем... Об этих поэтках, может быть, ничего в своё время не написали В.Огрызко и В.Христоворов, но были отклики других критиков, можно было поместить какие-нибудь из них. Можно было, наконец, хотя бы упомянуть о них в «Приложениях» к сборнику, где сообщаются краткие биографические сведения о чукотских писателях и литераторах, но и там ни звука. Зато имеешь воз-

пом руководствовался в этом случае В.Огрызко, составитель данного биографического словаря, судить трудно...!

«Ещё раз уточним: книга «Чукотская литература» посвящена литературе именно чукчей. Творчество эскимосов – тема другой книги «Эскимосская литература», которая в данный момент находится в производстве. – *Прим. редактора.*

Об этом словаре стоит сказать отдельно. Общее впечатление грустное, если не сказать гнетущее: перечень безвременно ушедших. И забытых. Некролог в соединении с мартирологом. В.Кеулькут, 1929 – 1963. Умер в Ленинграде. 34 года. В.Тымнетуге, 1935 – 1965. 30 лет... М.Вальгирин, 1939 – 1978. Не дотянул, как видим, и до сорока... В.Тынескин, 1945 – 1979. 34 года. Нашли замёрзшим в тундре, рядом с грудой пустых бутылочек... С.Тиркыгин, 1949 – 2001, 52 года. Тоже, в общем-то, не возраст. «Его путь оборвался перед новым взлётом», – как написано о нём на с. 300... В.Анхаки, 1954 – 1995, 41 год. А.Атаукай, 1932 – 1974, 42 года. Н.Путегин, 1927 – 1967, 40 лет. В.Етыгегин, 1939 – 1959, 20 лет. Учился в Ленинграде, на факультете народов Севера, «погиб». Могу представить себе, как он там погиб... Ф.Тынэтэгин, 1920 – 1940. Учился в Ленинградском институте народов Севера. «Увы, сырой ленинградский климат оказался не для Тынэтэгина. Молодой студент вскоре заболел туберкулёзом». Умер в 20 лет... (Вообще у всех этих ленинградских учебных заведений «для народов Севера», созданных всё с теми же благими намерениями: поскорее их «образовать», «подтянуть», – им-

лось и другое, более мрачное, но точное наименование: «Кладбище народов Севера»). Н.Токе, 1936 – 1983. Писал стихи, собирал чукотский фольклор. «Но, увы, песни Токе оборвались слишком рано. Он умер от туберкулёза». «Одна тетрадь сохранилась у Антонины Кымытваль, другая, видимо, потерялась». РРэгытваль, поэтесса, 1939 – 1988, 49 лет. «Что потом стало с рукописями Рэгытваль, неизвестно... В.Калычайвыргин, «трагически погиб» в 2000 году. «Что стало с рукописями, пока неясно»... Даже о Л.Г. Тыньель (1932 – 1999), женщины на Чукотке когда-то заметной, – закончила Ленинградский пединститут, работала в Магаданском издательстве, принимала большое участие в судьбе начинающей Тони Кымытваль, побывала даже председателем Чукотского окрисполкома, т.е. фактически «начальницей Чукотки», – узнаём: «Судя по всему, она не раз бралась за перо, пыталась что-то сочинять. Но куда делись её наброски?» (с. 478)... Но что какие-то наброски, тетрадки, рукописи? Про поэтессу Т.Эйнены, о которой уже начала неплохо отзываться магаданская критика («острота, драматизм, точность передачи настроения» и т.д.), в данном биографическом справочнике читаем: «Как потом сложилась судьба Эйнены, неизвестно» (с. 482). А годь... это не какой-нибудь глухой XIX век – судя по всему, последние советские, не столь уж и далёкие годы...

В связи с этим многое можно было бы сказать, но ограничимся тем, что говорится в сборнике «Чукотская литература». А говорится там, к сожалению, мало, тему эту, «важную не только с литературоведческой точки зрения, но и с чисто человеческой», затронуд кажется, лишь один автор, А.Трапезников, в связи с печальной участью В.Тыньельки. Цитирую поэтому полностью. «Ведь мы знаем, – написал он, – сколько одарённых поэтов и прозаиков Севера, представителей малых коренных народов, слишком рано уходят из жизни: кто-то кончат с собой, как эскимос Юрий Анко, кто-то спивается, кто-то пропадает бесследно. В чём причина? Точных статистических данных нет, но, наверное, в процентном отношении количество смертей в творческой среде представителей малых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока намного выше, чем у русских. Не выдерживают испытания славой? Или несовместимости миров, когда переход языковой границы быта и культуру уже сам по себе является опасным шагом на краю бездны? Это очень серьёзная проблема, над которой должны думать и социологи, и философы, и этнографы, и культурологи, и психологи» (с. 315). Позволю себе слегка прокомментировать. Насчёт того, что «не выдерживают испытания славой» – смешно. Не такая уж на этих авторов одного-двух сборничков, изданных в далёком местном издательстве, и авторов одного-двух стихотворений, пробившихся в какой-нибудь столичный журнал, – не такая уж в итоге сваливалась на них оглушающая слава. Вот насчёт «несовместимости миров» – серьёзнее. Но я бы там вставил словечко «были»: «должны были думать». То есть раньше надо было думать!.. И имея в виду не только «творческую среду», но и целиком все эти «малые народы»...

Впрочем, они ведь и думали – те же учёные, путешественники, этнографы, писатели. Наблюдали, размышляли, оставляли свои записки. Ещё у Тана-Богораза возможно было, например, прочесть, что «чукчи вообще проявляют склонность к самоубийству». Причём такое самоубийство вовсе не являлось признанием окончательного своего поражения, какого-то «жизненного краха» и т.п. – оно, напротив, могло быть следствием мгновенной обиды, злости, гнева, желанием показать обидчику, и хоть и таким способом, но *победить* его, возвыситься над ним. (См. В.Г. Богораз, «Чукчи», Ленинград, 1934, ч. 1, с. 27.) Там же – о болезненно-обострённом восприятии, точнее, неприятии всего чуждого. Помню очень когда-то поразившую меня историю, как В.Г. Богораз, путешествуя «среди чукоч», остановился в какой-то яранге, занёс туда свои вещи, и, когда принялся раскладывать, хозяйка яранги лишилась чувств. А приди в себя, объяснила, что на неё таким образом подействовал «запах чуждой коробики»... Всего лишь... Словом, многое и у многих, не только у Тана-Богораза, было давно подмечено и описано, надо было только дать себе труд внимательно прочитать и запомнить, а главное – сделать выводы... А мы навалились к нашим северным народам со своими «чужжими коробками» безо всяких сомнений, твёрдо веря, что несём лишь безусловное благо...

«Критерий поистине великого и сильного народа, помимо всего, ещё и в том, насколько он позволяет жить рядом с собой малому народу. Не только не являя ему свою «силу», но и не навязываясь с так называемым «прогрессом!» – к такому заключению пришёл когда-то мой герой, уэленский учитель. И теперь, исходя из этого, исходя т.е. из нашего результата общения с северными народами, с очевидностью надо признать, что мы – народ, увы, не великий... Как догадаться не столь давно, что не бывает народа «малого», есть «малочисленный», так пора осознать, что может и не быть народа «великого», может быть просто «многочисленный». Пока ещё «многочисленный»... И проблемы у него оказались всё те же, что у «малого». Да, как-то вдруг и парадоксально всё вывернулось! Мы взяли спасать «забитые и утнетённые» народы от вымирания – теперь нам самим надо спасаться от вымирания. Мы считали их «отсталыми» – выяснилось, что и сами опять, в который уже раз, «отстали». Мы хотели избежать их от «пережитков проклятого прошлого» – сейчас нас самих вовсю избегают от «пережитков прошлого». Причём от тех самых «пережитков», во имя которых уничтожали мы те, прежние «пережитки»... Мы искоренили культ шаманства – теперь вокруг нас самих полно самого низкопробного «шаманства»... Мы удивляли чукчей «чудесами техники» – теперь сами удивляемся очередным «чудесам техники»... Мы были счастливы, переселив их из яранг в дома – теперь наши божки, которых уже неисчислимо больше, чем тех же чукчей, были бы рады даже такой яранге... «Чукчи склонны к самоубийствам» – у нас количество самоубийств также возросло неизменно... Нас упрекают теперь, что мы сполнили наши «малые народы», но кто в таком случае сполнил нас? Мы

как-то всё-таки пытались сохранить их «самобытность» – но куда подевалась при этом наша собственная?.. Мы даже старались, чтоб у них образовалась своя литература – но что за это время сделалось с нашей, «великой русской»?.. И тд. Короче: «Мы кажемся себе европейцами в сравнении с чукчами, но в глазах европейцев – мы те же чукчи» – как опять же говорил когда-то мой герой... Этот грустный пассаж, конечно, несколько увёл нас от темы, но он, видит Бог, направили...

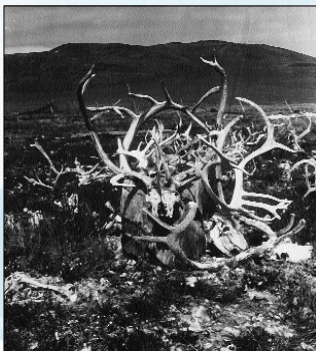
Зато как-то даже весело было, в отличие от чукотской поэзии, читать раздел, посвящённый чукотской прозе. Ибо чукотская проза – явление своеобразное, уникальное. Такого, наверное, нигде, ни у одного народа больше не встретишь. Вся она – ну если не считать двух-трёх авторов, сочинивших по «одному рассказу» – представлена *единственным* писателем. Юрием Рытхэу. Соответственно, этот раздел «Чукотской литературы» так и озаглавлен: «Мир Юрия Рытхэу». Раздел обширный, занимает чуть ли не треть всего сборника. Десятка два статей – и все о Рытхэу. О нём успели написать даже такие «мамонты» чукотской словесности, как Т.Сёмущкин и П.Скорик. Но всё это и неудивительно – как только что было сказано: другого-то нет!.. Почему так получилось, что за все годы заботливой советской власти никого рядом с Рытхэу в чукотской прозе не воспитало – понять трудно. И разбираться уже не хочется. Думаю, однако, что само Рытхэу вот это положение его «единственности» очень даже устраивало. Устраивало, видимо, и саму власть...

Статьи об этом писателе в сборнике подобраны не тенденциозно, разброс мнений о его творчестве велик – от самых восторженных суждений до весьма нелюбезных. С одной стороны, например, читаем: «В Рытхэу счастье соединилась судьба человека, вместе со своим спасённым революцией от вымирания народом преодолевшего за одну жизнь несколько историко-революционных этапов, и дар писателя, художественно, образно осмысляющего это преображение народа...» (Н.Подзорова «Волшебное зеркало Рингына», 1979, с. 137). Или: «Может быть, только, пожалуй, Рытхэу более всех преуспел в романтизации жизни северных народов, в первую очередь благодаря исключительной художественной силе... После романов Рытхэу хочется хотя бы раз в жизни пробежать по летней тундре... (Михаил Бойко «Морж на галечной отмели», с. 235 – 236). Чукотская тундра летом, надобно заметить, – это усеянная сплошными кочками и вдобавок напитанная водой местность, там не то что «пробежать», но и просто идти – затруднительно... Но ещё: «Юрий Рытхэу раздвинул горизонты родного Наукана и Уэлена – впрочем, и всей Чукотки – до мировых масштабов» (Владимир Христофоров «Рапсоды чукотской тундры», с. 277). Ну и в таком духе... А с другой стороны, можно прочесть: «За самый бездарный в художественном отношении и лживый с исторической точки зрения роман про первый рейс Чукотки «Конец вечной мерзлоты» Рытхэу получил в 1983 году Государствен-

ную премию РСФСР имени Максима Горького... С тех пор Рытхэу написал ещё с дюжину романов. Увы, ни один из них не стал событием даже в чукотской литературе. Может, потому, что сочинялись они с холодным сердцем и трезвым умом». (Вячеслав Огрызко «Время гонимых снов», 1998, с. 242.) Довольно прохладно воспринимают творчество Рытхэу Александр Титков («У каждого своя правда») и Юрий Козлов («Молчание снегов»). Так что читатель, внимательно ознакомившись с разделом «Мир Юрия Рытхэу», получит об этом писателе вполне разностороннее представление... Мне же был интересен не феномен «родоначальника чукотской литературы» – в его возникновении нет никакого «бинома Ньютона», – но феномен восприятия его нашей критикой. Скорее наглядная трансформация этого восприятия. «Критика обязана дать широкому читателю полное представление о победах и проблемах новых литераторов, которые являются дорогами детищем советской власти, ленинской культурной политики», – как написала в своей статье «Путь к писателю» (1978) одна из авторов сборника Ирина Осмоловская (с. 156). Была «обязана дать» – и дала. *Давала*... А потом критика вдруг перестала быть обязанной давать представление о «дорогом детище советской власти», но получила возможность оценить это «детище» беспристрастно и трезво. И соответственно не замедлила...

Мне о Рытхэу ни разу писать не доводилось, да и желания, откровенно говоря, никакого не было. Лишь однажды, где-то в конце 1970-х или начале 80-х... Я тогда только что завершил очередную свою, долгую поездку по Чукотке, проехав три, размером с Европу, района, побывав везде – от кабинета директора «атомки», где батареи нагнетали прямо тропическую жару, и в огромных кадках произрастали огромные пальмы, и по телефону на столе директора можно было мгновенно и напрямую связаться с Москвой, и до папушей яранги в тундре, где всё оставалось неизменным, как и много веков назад, лишь пресловутая «Спидола» смотрелась каким-то одиноким и странным анахронизмом... В общем, получилось буквально: «от пальмовой лозы до ледяного мха». И проблем там было, как всегда, полно: и с той же «атомкой», и с «передвижными домками» для тундровиков, и с «применением техники в оленеводстве», и с бытом горняков на дальних приисках, и с обустройством прибрежных посёлков, и с «экологией», и проч., и проч. А главное, не предвиделось в их решении никаких радужных перспектив. Каждый раз, приезжая на Чукотку, приходилось сталкиваться с одними и теми же проблемами. Разве что усугублялись...

Тогда же попала на глаза недавно вышедшая книжечка Рытхэу, не помню её названия, помню, что очерковая и о тех же местах, где я только что побывал. Так, пустая, набор общих фраз, суть которых сводилась к затверженному: «какой благодаря советской власти и её мудрой политике славный путь, всего лишь за несколько десятилетий, прошла Чукотка – «от жирника до атома»... Книжечку такую спокойно можно было слепить, не покидая Ленинграда... Я, всё ещё во власти собственных впечатлений, разолился. Встре-



тился как-то в ЦДЛ со знакомым критиком, сказал ему, что решил наконец написать о Рытхэу. Объяснил, в связи с чем. Критик был серьёзный, занимался «проблематикой творчества Толстого», «проблематикой творчества Достоевского», литературная текучка его не интересовала. Скорее философ, чем критик. Поэтому даже не сразу меня понял. Пришлось повторить. «Писать о Рытхэу? Но это же, согласись, несерьёзно», – сказал он. – Это – моветон! Тем более его обличать... Да и за что? Вы там взялись строить новую жизнь, «нести свет». Поэтому ваше дело – переживать из-за всяких неудач, мотать себе нервы. А их дело простое – благодарить. Вот они и благодарят... Потом я и сам остыл – насчёт Рытхэу. Написал свою дорожную повесть – «Снега былых времён». Как обычно – с «проблемами», с ностальгией. Для самой нашей главной тогдашней газеты «Правда» написал статью про «не до конца ещё налаженный быт оленеводов». Назвал «От атома до жирника». Что полностью соответствовало... Какие-то «проблемы» из неё выкинули, какие-то оставили. Сняли, конечно, заголовок, взамен придумали что-то свежее, образное. Кажется, «Оленьими тропами»...

Но теперь, в связи со сборником «Чукотская литература», о Рытхэу всё-таки надо что-то сказать. Хотя по-прежнему не вдохновляет. Поэтому ограничусь, пожалуй, тем, что просто приведу кой-какие отдельные, «возникшие по ходу» соображения. Не систематизируя их, не выстраивая в логический ряд, но в том порядке, в котором они у меня записались. И не особенно-то стараясь доказать. Тезисно.

...Об этом «славном сыне чукотского народа» и сами чучки говорили неохотно. Помню, в Уэлене – откуда он, кстати, родом – разговаривал я со стариками. Ещё живы были Татро, Армоль, Тагьёк. Пришло в голову спросить про Рытхэу. Как, дескать, относятся они к его книгам? Старик долго мялся, отвечать не хотели, наконец, кто-то сказал: «Не всегда правду пишут». Надо

знать чучкей. В переводе с их вежливого на нормальный русский это звучало бы: «Врёт, как свинья мерин»...

В статье А.Титкова (с. 267) – высказывание Рытхэу. Уже из сегодняшних, т.н. постперестроечных. «Далёкий украинец считался таким же хозяином чукотской земли, как и сам чучка. Но существовало маленькое отличие: чучка не являлся хозяином украинской земли и не имел никаких прав на урожай украинского крестьянина». Разумеется! Вся эта мука, масло, тушёнка, стуженка, крупы, разнообразные овощные консервы, компоты, картошка, яблоки и проч., которые каждый год исправно завозились в магазины чукотских посёлков, – всё это, конечно, производилось тут же, в ледяной тундре. Самими чучками...

...Вечный конъюнктурщик. Когда он не уставал твердить, как хорошо зажила наконец Чукотка при советской власти, это у нас, представляющих истинное положение дел, не могло вызвать к нему уважения. Но если бы он и теперь, когда власть эта рухнула, продолжал вспоминать, «как хорошо жила Чукотка», – я бы его даже завуяжал. Но теперь для Рытхэу «главное зло – насильственно внедряемый на Чукотке образ жизни, ассоциируемый с русскими». Ю.Козлов по этому поводу пишет: «И это, в общем-то, объяснимо. Маятник национальной словесности, излишне заведённый в советское время в сторону уважения к старшему брату, должен точно по такой же амплитуде качнуться в другую сторону – отрицания этого самого самозванного брата...» (с. 271). Казалось бы, всё так, да только человек – не маятник. Не должен быть маятником! Тем более человек мыслящий, «писатель». (Вспомним: «Всякое влияние, у человека ли, у рыбы, есть признак слабости...») И тем более качнулся он не в сторону полной наконец самостоятельности своего народа, но в сторону теперь другого, «американского брата». «Так, в интервью киевскому еженедельнику «Бульвар» на вопрос «Если бы Чукотка принадлежала не России, а Америке, было бы лучше или хуже?», Рытхэу прямо заявил: «Думаю, значительно лучше для моего народа». Просто не повезло нам со «старшим братом» (с. 265). Год интервью – 2004-й.

Что на это сказать? Тут лишь вспоминается один из рассказов любимого в детстве Джека Лондона. Описывалось в нём, как человек шёл по заснеженной холодной равнине. Его сопровождала собака. Человек шёл долго, выбился из сил, упал и замёрз. А собака повела немного да и побежала себе – туда, «где были другие податели корма и огня»...

А с другой стороны... У нас и своих, «внезапно прозревших», хватало... И с высоких трибун принимались «обличать» и «разоблачать», и партбилеты свои с экранов ТВ, т.е. на виду всего честного люда, начали жечь, и т.д. Что ж теперь спрашивать с этого Рытхэу? Но в связи с этим возникает другой, может быть, самый главный вопрос нашего времени: что, если через какие-нибудь очередные семьдесят лет мы опять сообразим... а точнее, Запад опять внушит нам, что мы не по той дорожке идём, не туда зашли, и весь «цивилизованный мир» давно уже строит «просвещён-



ный коммунизм», а мы так и погрязли в своём «лещерном капитализме»... и потомки наши с той же страстью примутся снова крушить, обличать и разоблачать... – можно ли будет после этого продолжать серьёзно говорить о какой-то нашей «своей истории», «собственном пути», о какой-то там «русской идее» и т.п.?

...Писатель из Рытхэу действительно – никакой. Для меня писатель – это не «идеи», не «проблемы», и даже не «герои», и тем более не «сюжеты», это прежде всего – язык. И только через язык – «идеи», «герои» и т.д. Но какой язык мог быть у Рытхэу? Вот если бы он писал на чукотском... И у него нашёлся бы сильный «переводчик-соперник». Как, скажем, у Рамзатова В.Солоухин... Но он совершил ту ошибку, что с самого начала стал писать по-русски, т.е. на чужом, не родном для него языке. Его русский – это хорошо усвоенные трафареты. Недаром критики, погружаясь в «мир Рытхэу», пишут о чём угодно: о «проблемах», о знании писателем местных обычаев, об использовании чукотского фольклора и т.д. – только не о языке. Лишь в одной статье (Ефим Роговер, Марина Колупаева «Надежда после катастрофы») авторы рискнули обратиться к языку Рытхэу. И что же их тут восхитило? «Яркий ковёр расцветшей тундры»... – сколько ни ходил по чукотской тундре, в глаза не выдвигал этого «яркого расцветшей ковра!» – «чистая прозрачная вода», «большие серо-зелёные глаза», «свинцово-серый цвет осени» и т.п. (с. 228). Т.е. банальнее не выразишься... Да что тут объяснять? Возьмите наугад любую страницу из Бунина и перечитайте – и не потребуется уже ничего объяснять... Но вот это загадочное восхищение нашей критики творчеством Рытхэу – явление более интересное, чем само это творчество, и могло бы явиться предметом отдельного исследования...

Впрочем, мне, как человеку, когда-то преподававшему в чукотской школе русский язык и литературу, это понятно. Среди чукотских и эскимосских детей в каждом классе у меня обязательно было несколько русских. И с них я требовал, как положено. За одну всего лишь ошибку при письме ставил «четыре», за пять ошибок – «два». Но имелся у меня, например, и такой ученичок, как Петя Икупчейвин. Нормальный, живой, любознательный чукотский подросток. Однако с русским языком у него продвигалось туго. И не он в этом был виноват – давила та самая, «общая программа». В начале года делал в диктанте по двадцать ошибок. К концу года – десять. И мне приходилось доказывать на педагогических советах, что я имею право оценить его успехи хотя бы на «три». А если бы он написал мне всего с двумя-тремя ошибками, я бы ему на радостях нарисовал «десять»!.. Вот и Рытхэу, как писателю, исходя из этой «относительности критериев», поставил бы законный его «тройка». Но о каких-то там «художественно-эстетических воплощениях», об «индивидуально-своеобразных чертах его творчества» (с. 157) – говорить бы поостерегся...

А свой чукотский он, видимо, основательно подзабыл. В «Приложениях» к «Чукотской литературе» можно прочесть, что «почти все его про-

изведения, изданные на чукотском языке, переведены Линой Тыньел» (с. 478). То есть, надо понимать, с русского языка Рытхэу – обратно на его «родной чукотский»... Кстати, из тех же «Приложений» можно узнать, какое живое участие в писательской судьбе Рытхэу, и особенно в начале его пути, принимали Т.Сёмущкин, П.Скорик, та же Л.Г. Тыньел и др. Но ни в одной из биографий других чукотских литераторов нельзя найти, что кем-то из них, своих молодых земляков, заинтересовался Ю.Рытхэу, в ком-то, в свою очередь, принял такое же непосредственное участие, кому-то по-писательски помог. Наверное, и в голову не приходило...

Один несомненный талант у него был – *имитации*. Писатель С.Есин, из нашей тогдашней когорты «сорокалетних», написал в своё время интересный роман (или повесть?) – «Имитатор». Там о художнике, который не был подлинным мастером, но как-то сумел им прикинуться. И многих в этом убедить. К Рытхэу вот это определение «имитатора» приложено полностью... Тем более что и вся власть с её «ленинской национальной политикой», и литературные начальники, и всегда послушная им критика – все ему и всячески в этом деле способствовали... А он очень чувствовал, где и как выглядеть, что и как



да говорить... «Во все времена советской власти ясным компасом, указывающим верное направление, была ленинская национальная политика, дающая равные права для развития культуры больших и малых народов» (Ю. Рытхэу, речь на 6-м пленуме Правления Союза писателей РСФСР).

Но для меня самое удивительное в Рытхэу – не его «творчество», и не его «популярность», всё это довольно скоро исчезнет и без следа, но это его умение жить и распространять чувство себя вне родины. Поясню. Я уже писал где-то, что для эскимосов и чукчей, особенно береговых,



«анкапинов», понятие родины весьма локально, для них и соседний посёлок, километров всего за двадцать – и вроде такое же там море, и коса, и лагуна, и сопки... – а всё равно чужбина... Тем более вовсе непривычный европейский город. Там они тоскуют, болеют, умирают. Об этом же и в приложенных к «Чукотской литературе» биографиях, там то и дело: «заскучал», «заболел», «вернулся». А то и вовсе: «погиб». И по собственному опыту помню: закончил твой ученик школу, поехал в Магадан, в Хабаровск, Владивосток, поступил там в какой-нибудь техникум. И рад за него. Получит специальность, потом, может, и в институте продолжит... И вдруг – не прошло и полгода – видишь: идёт по родному Уэльну, опять в своих нерпичьих портках, кухлянке, торбазях, рот до ушей. «Что ж ты, Витя?! Махнёт рукой: «А, надоело!... Но в чём дело: опять почему-то за него рад. Спокоен...

У Рытхэу такой проблемы, как «тоска по родине», не возникало. Почему? – вдаваться в это не хочется... Но для писательского дела, которому он решил себя посвятить, это оказалось даже положительнее, поценнее, чем «talant». Проживавший в культурном центре, всё тут – и журналы, и издательства – под боком, и сам ты постоянно на виду, и для всех ты по-прежнему «национальный кадр», представляешь «далёкую неизведанную Чукотку». Все выгоды от такого «промежуточного», «посреднического» положения Рытхэу быстро понял и оценил.

Я его для себя называл «Чукотский сирота». Но не в связи с известным фактом его биографии, а по аналогии с давно бытовавшим на Руси определением «Казанский сирота». Что это такое? В старом сборнике М.И. Михельсона «Ходячие и меткие слова» написано так: «О казанских мурзах (татарских князьях), которые пользовались добротой русских и извлекали себе выгоды, то переходом на судьбу, то кляпчаньем, то переходом в русскую веру... Кстати, среди московских литераторов ходил слух, что он выдавал себя за «сына чукотского вождя». Конечно, вдали от Чукотки это было возможно – откуда доверчивой, начитавшейся Джексона Лондона здешней публике было знать, что у чукчей, в отличие от индейцев, отродясь не бывало «вождей»? Имелись в стойбищах свои силачи, «эрмечины», были пользовавшиеся уважением удачливые охотники, а вот «вождей», в том статусе, как у индейских племён, не водилось...

С Чукоткой он, конечно же, не порывал, навещался регулярно. Понятно, что без неё в литературе он был бы полный ноль... Но ездил туда не как мы, несчастные «чухавшие северяне», не из ностальгии... – когда подражаешься на любой «деловой очерк», а на самом деле лишь бы постоять ещё раз на уэльнском берегу, – цели у него были весьма конкретные, практические. Новости, «проблемы», местная «злоба дня». Может быть, подвернётся какой-нибудь «сюжет»... Заодно развеять, над чем там бьётся, за что сражается со своим начальством магаданская пишущая братия, что у них там уже «проходит», а что ещё «не проходит». Не пора ли самому поднимать очередную «животрепещущий вопрос», но уже на уровне «центральной прессы»... И тд.

В связи с этим одна забавная история. В конце 1970-х побывал я опять в Чукотском районе и, конечно же, в своём Уэльне. Всё наладившееся там было хозяйство рухнуло. И опять в связи с «нововведениями»... Приходило в упадок оленеводство, сокращались морзверобойный промысел... Впервые услышал я такой термин, как «планово-убыточное хозяйство». Те, данный, например, совхоз заранее уже считались «убыточными», и приносимый им убыток даже предусматривался в «плане»... Местному населению нечем было заняться, негде стало работать, и появились ещё один термин: «неперспективные посёлки»... Но вот парадокс: население того же «неперспективного» Уэльна при этом резко увеличилось! Но не за счёт самих чукчей и эскимосов, а за счёт «приезжих». Стало их там чуть ли не больше, чем «коренных». Шли, однако, не в морзверобой и оленеводы, пристраивались в «сфере обслуживания». В когекгарке, в магазине, в общепите... Сама «сфера» не сказать, чтоб резко пропала, – как была, к примеру, одна столовая, так и осталась, только работал в ней уже не один человек, который спокойно прежде со всем управлялся, но сидел и скучал семь приехавших с материка тёток... В общем, «понаехали там»...

Об этих и многих других, но столь же невесёлых впечатлениях от Уэльна, я, вернувшись в Москву, написал большой очерк «Прощание с Уэльном». Спросил там, в частности, что, если ситуация с «приезжими» пойдёт и дальше так развиваться, можно ли будет через несколько лет называть древний Уэльн «чукотско-эскимосским» посёлком. Нарисовал своё видение и свой проект «возрождённого» Уэльна... Но ни в одном из московских журналов, куда я относил свой очерк, публиковать его не решились. Один знающий редактор сказал прямо: «Ну чего ты хочешь? Американцы и так нам плешь проели, что мы не знаем, что делать с нашими «мальыми народами», а тут ещё ты подливаешь масла в огонь!» Я уже собирался распечатать свой очерк в нескольких экземплярах, чтоб разослать, как это водилось, в ЦК, в Комитет по народам Севера (или как он там назывался?), в наш Союз писателей, и на том закончить, но вспомнил, что не побывал ещё в одном журнале, в «Дружбе народов». Отдал и туда своё «Прощание...» – так, безо всякой надежды, уже из принципа, – а там вдруг взяли. С «некоторыми сокращениями», но всё-таки взяли!... Тогда я послал копию очерка ещё в чукотскую «районку», в «Зарю коммунизма», тогдашнему её редактору Славе Глушко. Написал ему как есть: что обещаю напечатать в «Дружбе», но ведь поступит к ним этой «Дружбы» на весь район экземпляра два-три, и кто её прочтёт, а мне хотелось бы выйти на широкого, на своего чукотского, на своего уэльнского читателя... А Слава как раз собирался уезжать с Чукотки, «с концами», терять ему уже было нечего – взял да и напечатал. В семи номерах подряд, по полосу в каждом, весь очерк. (Эту подшивку мне прислала и я хранию её, как одну из самых дорогих для меня публикаций)...

Потом мой товарищ журналист из той же «Зари...», писал мне, что номера «зачитали до дыр», что чукчи, когда я опять приеду, «ответзут меня в

тундру и посадят там на шкуру белого оленя», – если ещё до того «не пристрелил кто-нибудь из «приезжих»... Ещё написал, что газету с очерком уже затребовал окружной КГБ, на предмет, не проповедают ли в нём идеи «чукотского национализма»... Но тут подоспела «Дружба народов» с тем же очерком, и в Анадыре успокоились. Если уж сама столица «дала добро»... И ещё написал, что как раз в те дни, когда они печатали очерк, в Лаврентия (в райцентре, то есть) проживал Рытхэу. Товарищ мой, конечно, ходил к нему в гостиницу, брать интервью насчёт «дальнейших творческих планов», и передавал, что Рытхэу там «написал, плакал и кричал: «Почему не я это всё написал?!»... Не знаю. Лично у меня вызывает сомнения, что Рытхэу мог «напиться и плакать». Сам я «напившимся» его никогда не видел, да и вообще и во всём он был человеком весьма осмотрительным и осторожным. А впрочем, оказавшись в глуши далёкого чукотского райцентра, мог, наверное, и позволить себе... Но вопрос «Почему не он это написал?» – даже если он и не здавал его себе – всё равно правомерен. (Вопрос типа того, кузавевского: «Так почему же не вы находились на тех тракторных санях и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер?») Тем более что Уэлен был ведь его родным посёлком и это ведь у него в первую очередь должна была болеть о нём душа!.. Однако в последующих сочинениях Рытхэу проблема «приезжих» – как об этом можно прочесть в сборнике «Чукотская литература», – была, разумеется, поставлена «со всей остротой»...

Отношения между северянами, особенно когда встречались они вдали от Севера, на материке, обычно складывались так: был, прошёл там же, где и я, видел эту сопку, и эту косу, и эту лагуну – уже, значит, «родная душа!».. И что за этим следовало – понятно... У нас с Рытхэу дальше великого знакомства не пошло. Моё ироническое отношение к нему и его творчеству у меня очень чувствовал, быстро понял, что изображать «литературного мэтра» и «знатока Чукотки» передо мной не получится, и держался поодаль. При встречах, будь то на Чукотке, где мы раз или два пересекались, или в Москве, куда он часто навещался из своего Ленинграда, частного оживления не возникало – просто кивали друг другу...

И на этом мои заметки о «классике чукотской литературы» можно бы оборвать... Но в заключение ещё одно, совсем далёкое воспоминание. Год 1966-й (или 65-й?), я живу и учительствую в Уэлене, ни о каком писательстве ещё не помышляю. Элементарно наслаждаюсь всей этой, вдруг открывшейся мне здесь, необыкновенной, почти первозданной жизнью... Вдруг прошёл слух: приехал писатель Рытхэу. Какие-то его книги я уже читал, что-то о нём, как выпускник филофака МГУ, конечно, знал... По скорости распространения слухов чукотский посёлок ничем не отличается от русской деревни. Ещё слух: ни у кого из своих, из чукчей, останавливаться не захотел, попросился ночевать к нашим пограничникам, на заставе. На заставе оно, конечно, почище. А у чукчей... они хоть и переселились в дома, но запахи в тех домах уже характерный, такой, будто

только что разделили там целого кита... Вскоре и самого писателя увидел: шёл по улице человек лет тридцати с чем-нибудь, вполне европейского – слышом, я бы даже сказал, европейского – вида, в каком-то толстом, явно заграничном, сером пальто, в каких-то красивых затемнённых очках, на груди не то большой фотоаппарат, не то кинокамера в прямоугольном светло-жёлтом чехле...

Всё это, признаться, несколько удивило. Ведь как бы у нас, у русских, – когда приезжает в свою деревню какой-нибудь «выбившийся в городские». Тут же переодевается во что-нибудь привычное, рваное, родное, тут же норовит целиком окунуться в свою прежнюю, оставленную, но так и не забытую жизнь. Словом, как у того же Есенина: «К чёрту я снимаю свой пиджак английский, / Что же, дайте косу, я вам покажу!»... И тд. Ещё этот вернувшийся интеллигент, тем паче писатель, мог бы зайти в школу, где сам когда-то учился, глянуть ностальгически на свой класс, присесть за парту, потолковать с учителями, учениками... Мог бы, наконец, собрать в клубе дискуссионельчан, выступить, сам о чём-то порасспросить... Но ничего этого не произошло. Так и прошатался он несколько дней в неприкаянном одиночестве взад-вперёд по нашей недлинной и единственной уэленской улице и как-то незаметно из посёлка исчез. А для чего приезжал? Тогда-то я и поинтересовался у стариков, как они относятся к его творчеству...

Но это воспоминание, прошу понять, – не в довершение образа чукчи-писателя. И даже не о нём. Там была одна замечательная деталь. Вот, собственно, ради неё... Как раз в то время в Уэлене строили новую школу. Первое двухэтажное здание в посёлке. Строителям пришлось даже соорудить леса... А тогдашний наш уэленский пекарь Семён Фёфелов выпекал замечательный белый хлеб. Чёрный ему не давался, какой-то выходил сырой, слипшийся, и он сам называл его «аммоналом». Зато белый получался необыкновенно вкусным, и как только завозили его в магазин, весь посёлок выстраивался в очередь и старался сразу раскупить его, пока он свежий, ещё горячий... А кинокамера в жёлтом прямоугольном чехле на груди Рытхэу очень походила издала на буханку такого хлеба. И строители, завидев идущего по улице писателя, бросали свою работу, кидались вниз со своих лесов и бежали в магазин. Откуда возвращались потом – естественно, чертыхаясь... Так что Рытхэу в этом воспоминании ценен не сам по себе, он здесь как мимолётная, но неотъемлемая деталь того уэленского пейзажа... К этой детали тут же начинают присоединяться другие. Например, как Семён в своей пекарне, в ожидании, пока подойдёт тесто, развлекался тем, что стрелял из «мелшакки» по тараканам. Затем ещё что-то... И снова пойдёт разворачиваться воспоминание об Уэлене, всегда дорогое тем, что оно – *из тех лет*...

И наконец, ещё... Говоря о Рытхэу, невозможно не вспомнить разительную противоположность ему другого чукотского писателя – Владилена Вячеславовича Леонтьева (1928 – 1988). Родился на Дальнем Востоке, но уже семи лет вместе с



родителями приехал в Уэлен. Чуть постарше Рытхэу, но учились они вместе, потому что учитель тогда имелся в Уэлене всего один и класс у него, соответственно, тоже был один. Тогдашний Уэлен – почти сплошь яранги. У меня есть большой моржовый бивень, расписанный Еленой Янку – и она училась в том классе, – на одной из сторон этого клыка запечатлён вид старого прибрежного стойбища: яранги, обращённые все как одна выходом в одну сторону, в сторону моря, байдара, поднятая на столбах из китовых челюстей, распяленная на деревянной раме для просушки моржовая шкура... Рядом, в море, охотники, тянущие к берегу кита. Поодаль на льдине другие охотники – разделявают добытого моржа... Вот в таком Уэлене и очутился Владилён Леонтьев, и жизнь этого русского мальчика ничуть не отличалась от жизни его чукотских сверстников. Не отличался и его чукотский язык, который вошёл в него с детства, органически, как родной... Мне, например, этот язык казался невероятной трудным, в особенности фонетика, имелись там какие-то непреодолимые «гортанные смывные», и когда я отваживался в своём классе сказать что-нибудь по-чукотски, я видел, как дети мои улыбаются. Из-за моего произношения, конечно... Владилён говорил по-чукотски свободно и совершенно как чукча...

Оба, и Леонтьев, и Рытхэу, учились затем в Ленинграде. Однако «славный сын чукотского народа» так и прикипел там на всю жизнь, а Леонтьев посчитал нужным вернуться в свой Уэлен, работал в школе, стал её директором. Впоследствии, правда, уехал, но не далее Магадана, занялся научной работой, продолжал изучать быт и культуру народов Чукотки, Колымы, мотался в свои бесчисленные экспедиции по Северу. Защитил кандидатскую диссертацию... Когда я приехал в уэленскую школу, Владилёна Вячеславовича там уже не застал, но в крохотной нашей учительской, на стенде, где для учителей выставлялись различные методические пособия, увидел написанную им брошюру «Школа и труд» (Магадан, 1964), она тогда только что вышла. И сразу её прочёл. Там было, что принять за сведения новоиспечённому педагогу. Тем более издалёкой столицы... И о том, что «метод работы в русских школах механически переносится в школы народов Севера», и что школа для учени-

ка местной национальности становится поэтому «чужой, а учёба – повинностью», и о том, что учитель обычно рассказывает на уроках, какой «низкой и отсталой» была культура чукчей и эскимосов, а в итоге «вся история этих народов начинает выглядеть в глазах учеников в самом неприглядном свете». И т.д. В общем, многое из этой брошюры я тогда «взял на вооружение», и моя собственная дальнейшая методика сразу начала выстраиваться «по Леонтьеву»...

А вскоре вышел его роман «Антымавле – торговый человек» (Магадан, 1965). Там, внешне и на первый взгляд, как у Рытхэу: 1930-е годы, время становления советской власти на Чукотке, чукчи, «шагнувшие в сегодняшний день из тысячелетней отсталости» (язык аннотации к книге), их удивляет патефон: «Наверное, там человечки сидят», и т.п. Но чувствовалось принципиальное отличие. Как бы получше это объяснить? Рытхэу поселился среди русских и чётко понял, чего от него здесь ждут. Свои книги о чукчах он писал прежде всего для русского, точнее, для русского советского читателя... Как он себе его представлял... С постоянной оглядкой на него... В общем, вёл себя, как экскурсовод в краеведческом музее, который посетили какие-нибудь важные гости: «А это вот, извольте, один из наших обычаев». «А теперь прошу ознакомиться с одной из наших традиций»... И т.д. Соответственно, герои его – выглядели не живыми людьми, но экспонатами с надлежащими функциями... Леонтьев все эти обычаи, традиции, и быт, и верования сам, конечно же, знал, причём знал так, как Рытхэу и не снилось. Но они не являлись для него ни «специальным предметом изображения», ни даже «фоном, на котором развёртывалось»... Они не отделялись от его романа так же естественно, как запах рыбьего жира не отделяется от торбазов из нерпичьей шкуры, сшитых здесь же, на побережье... Я почувствовал это, как только прочёл первую фразу, вернее, название первой главы: «Мужчина пришёл к нам с другой стороны»... Сам необычный строй этих слов уже предупреждал, что сейчас ты погрузишься в другой, неизведанный мир и что в этом мире тебе, как читателю, надо быть предельно внимательным...

Вот, например, о любви:

«Касается носом лица девушки юноша, какое-то непонятно приятное чувство овладело

телом. Прижался к ней плотнее, вдыхает девичий запах.

– Тебя желаю, – осмелел Антымавле.

– Я тоже, – прошептала девушка и опустила глаза.

– Старикам сказать?

– Ии, – согласилась она и ещё плотнее прижалась к Антымавле.

Набрался храбрости Антымавле, высказал Тымнеквуну:

– Я чувствую, что у меня уже тело взрослое...

В общем, написано вроде по-русски, но полное впечатление – что по-чукотски! И ты незаметно сам оказывался внутри этого мира и всё происходящее в нём воспринимал изнутри. Сам, безо всяких «как бы», становился чукчей... Вот эта сторона писательского мастерства В.Леонтьева, кажется, совершенно осталась без внимания критики, следившей всегда и прежде всего за тем, как и куда «шагнули» чукчи из своей «отсталости»...

За те годы, что я жил в Уэлене, Владилен Вячеславович и сам несколько раз приезжал туда. Конечно же, заходя в *свою* школу, тогда и познакомились... Разумеется, никто и не думал отме-



нять «общую программу», вводить другую, «с учётом местных особенностей», нашим «чиновникам от просвещения» всё это было глубоко не интересно. Лишняя головная боль. А для партийных демагогов вообще выглядело бы «извращением принципов» и даже отдавало «идеями расового превосходства»... Приходилось самому, чтоб дети вовсе не потеряли интерес к учёбе, как-то адаптировать эту программу, на уроках, взамен примеров из учебника придумывать свои, на темы из местной жизни, корректировать уровень требований и т.п. И я бывал рад приездам Леонтьева, с ним обо всем этом можно было хотя бы нормально поговорить... Помню визит Рыхтэу, наблюдал Владилена и в посёлке,

видел его с чукчами и как они все тоже рады ему, и он вовсе не брезговал, мог спокойно зайти в любой дом и быть там принятым даже не как гость, но как по-прежнему *свой, узелский*... Конечно говорю: проблем с ночлегом в Уэлене у Леонтьева не возникало...

Потом я сам уехал с Чукотки, но виделся с Владиленом в Магадане, когда бывал там, проездом в Уэлен. В одну из таких встреч он подарил мне серьёзную свою работу, итог своих многолетних исследований: «Хозяйство и культура народов Чукотки» (Новосибирск, 1973). Это спокойное, без громких слов, на основе конкретных цифр и фактов описание жизни народов Чукотского округа за время с 1950-х по 1970-е годы. Я бы в данном случае даже употребил слово *энциклопедия*... Скучное название книги не должно отпугивать читателя, там можно наткнуться на такие, например, строки: «Все морские травы часто варят с мясом морского зверя, что даёт хороший навар, питательность и солончатый привкус мясу. Собирают морскую капусту рано утром, как привало, после сильного прибоя. Хождение по берегу называется «арратак» – идти вдоль линии прибоя»... Можно бы и ещё цитировать... Мне эта книга, в особенности приведённой в ней статистикой, очень помогла впоследствии, когда я писал свой узелский очерк...

Когда, на исходе 1980-х, вышел мой роман «Конечная Земля», я сразу послал его Леонтьеву – для меня его мнение было бы особенно ценно. Не уверен, что он бы ему целиком понравился, – я там впал в какой-то «экзистанс», в вопросы «вечные и неразрешимые». Что было, в общем-то, немудрено на фоне тех неизменных соплоков, на берегу того великого океана, в окружении всего этого древнего покоя... Однако затрагивались там и те «локальные» проблемы, о которых толковали мы когда-то в Уэлене, и отзыв Владилена я в любом бы виде понял и принял... Но он в то время уже был тяжело болен, и, несмотря на это, всё-таки написал мне, что книжечку мою получил, просит только «не торопить» его – вот поправится и прочтёт. Видимо, так и не прочёл...

Не увидел он и своей собственной книги, написанной в соавторстве с К.А. Новиковой, – «Топонимический словарь Северо-Востока СССР» (Магадан, 1989). Вот это труд, без преувеличения, колоссальный, бесподобный! Одних названий там, я прикинул, порядка шести тысяч. Эскимосские, чукотские, корякские, эвенские, юкагирские, якутские, русские, английские... Все переведены, истолкованы, дана их этимология, точная или предположительная история. Посёлки, стойбища, сопки, хребты, низменности, озёра, речки, ручьи, скалы, отдельные камни, урочища, перевалы, острова, заливы, бухты... Не мне определять научную ценность этой работы, могу только сказать, что до сих пор беру иногда с полки эту книгу и просто читаю. За этими названиями многое: там не только география, там история Севера, упорное, хотя и незаметное для европейской истории, но тем не менее великое продвижение народов на Север, там точность, образность, поэтичность их восприятия окружающего мира, там наши русские землепроход-

цы и иностранные мореплаватели, за ними маршруты многих наших геологических партий 1930-х – 1940-х годов, их неудачи, разочарования, неожиданные находки, успехи, их полевой быт, юмор, их любимые писатели и литературные герои... В общем, поувлекательнейшей любовью «беллетристики»...

В «Чукотской литературе» о В.В. Леонтьеве сказано, к сожалению, мало: всего полстранички, да и то в «Приложении», озаглавленном «Переводчики чукотской литературы на русский язык». (Немногое можно ещё прочесть в статье А. Тразникова, с. 322.) Конечно, он ещё и чукотских литераторов на русский переводил. Он и русскую литературу на чукотский переводил... Но он и сам был настоящий чукотский писатель. Заданный составителем принцип отбора по национальной принадлежности в случае с Леонтьевым выглядит искусственным, не срабатывает... В тех же «Приложениях» после чукотского имени можно иногда встретить определение: «чукотский подвижник», «чукотская подвижница». И далее несколько слов: «собирал фольклор», «руководил красной ярангой», «исполнил песни», «ликвидировал неграмотность среди чукотского населения». И т.п. Трудно понять, что подразумевается тут под словом «подвижничество» и чем все эти занятия отличаются от простого учения или обычной работы, но вот к Леонтьеву это понятие «чукотского подвижника» приложимо полностью и безусловно! И со всеми традиционно сопутствующими этому понятию качествами: «самоотверженный», «беззаветный»... а ещё «скромный», «безвестный»... Да, не припомню, чтоб в наших с ним разговорах он хотя бы раз сказал: «Да всё это уже давно известно!», «Да я об этом уже сто раз писал!»... Хотя, конечно же, во многих случаях это и было так. Однако всякое стремление подчеркнуть, утвердить свой приоритет ему органически было чуждо. Никогда не забитился о своей «популярности», о том, чтобы как-то «выделиться». Оттого и «безвестен»... Не знаю, поддерживается ли память о нём в теперешней магаданской литературной среде, а в Москве о нём наверняка знают лишь несколько «узких» специалистов да помнят ещё «ухажившие» северные тех лет... Но точно знаю, что, если бы пришлось выбирать, я бы «мировой славе» Рытхэу без колебаний предпочёл бы «безвестность» Леонтьева...

Что ещё сказать о сборнике «Чукотская литература»?.. Давно подмечено: никто так не любит читать разнообразные книги о Севере, как сами северяне. Читают, причём очень внимательно, с пристрастием, и особенно любят находить и отмечать всякие допущенные авторами неточности. Вот и я в данном случае, как такой вот читатель-северянин... Ошибки для безлого взгляда вроде бы незаметные, типа вышеупомянутого «рыбачьего вельбота», но не могу не прокомментировать.

С. 31 I: «сидят ли с неизменной трубкой у костра»... – Распространённое заблуждение. Уже в начале 1960-х в Улене я не застал ни одного чукчи с трубкой. Все они курили коротенькие дешёвые папиросы – назывались, кажется, «Звезда». Единственным курящимся трубки оказался я, при-

езжий учитель, за что и имел прозвище «Койн'ын» – трубка... И затем, сколько ни ездил по Чукотке, в том числе и по тундре, чукчу с трубкой встретил лишь однажды, на острове Врангеля. Его звали Ульвелькот, он и его жена оставались последними жителями заброшенного посёлка на берегу бухты Сомнительная... Мой знакомый фотограф из Москвы, тоже часто ездивший на Чукотку, всё это знал, поэтому трубку возил с собой. В качестве реквизита. И со мной её каждому, кого фотографировал: капитану сейнера, пастуху в тундре, председателю чукотского колхоза, геологу на маршруте... Не хотел разочаровывать тех, кто также представлял себе северяна с «неизменной трубкой»...

С. 319: «По данным Института биологических проблем Севера, опираясь на труды магаданского исследователя проблем психической деятельности человека на Дальнем Востоке В.В. Аршавского, показано, что большинство коренного населения этих отдалённых районов – люди, у которых исторически сложилось *левополушарное* мышление, то есть образное, творческое по своей природе. В отличие от европейских, западных стран, где преобладает население *правополушарное*». – Здесь, к сожалению, перепутано «лево-» и «право-». За, условно говоря, «логику» по этой теории отвечает левое полушарие, за «образность» – правое. С В.Аршавским встречаться и разговаривать доводилось, мне всё это было близко, с этой особенностью восприятия и мышления моих учеников мне приходилось сталкиваться каждый день. Все мои «правополушарные» двоечники у нашего учителя рисования волшебным образом превращались в отличников. Воспроизводили всегда то, что видели с рождения: тундру, сопки, олений, море, льды, моржей... Тania Печетегина, которая на моих уроках сначала двух слов по-русски связать не могла, после школы пошла в костерную мастерскую, начала расписывать моржовые клыкки, из неё вышла отличная художница-гравер, за свои работы была принята в члены Союза художников СССР...

Но такое деление, на «лево-» и «правополушарных», опять же кажется мне относительным. Так, русский человек в сравнении с чукчей может смело причислить себя к «левополушарным». В сравнении же с европейцем с Запада – типичный «правополушарный». Бывают, конечно, исключения...

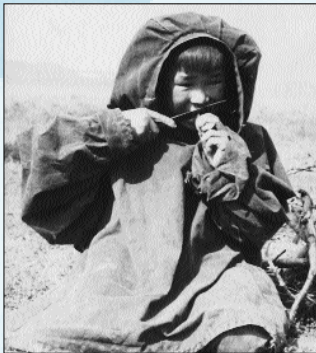
С. 322: «Вообще-то на Крайнем Севере воровать *соболей* из чужих *силков* не принято»... – Соболи – это гораздо южнее, там, где начинается (или кончается) лес. А на самом крайнем Севере, в тундре, – песца. На них ставят капканы. Существует ещё такое громоздкое сооружение, как «пасть». Но для него в тундру надо специально завозить брёвна... В главном же – верно: никакому охотнику и в голову не придёт взять песца из капкана, поставленного другим охотником... Однако литераторы, действительно, «народ особый», и за Аlikом Мифтахутдиновым, в адрес которого приведена фраза насчёт «чужих соболей», такое, действительно, водилось, и я ему в таких случаях прямо об этом говорил... Но даже нам, ставившим тогда «свои капканы» и обхо-



дившим «свои участки», теперь это всё кажется далёким и не важным, а «широкому читателю» — тем более нет дела... «Снега былых времён»...

С. 323: «Мясные ямы» полны моржового сала и *строганины*... — «Мясная яма» имелась возле каждого дома, была и у Таната, моего соседа, — когда я жил в нашем старом учительском общежитии, она помещалась как раз напротив моего окна... «Мясная яма», «увэрэн», — это вообще-то целая поэма, там можно сказать многое. Но если коротко: я не помню, чтобы в неё закладывалась отдельно «моржовое сало» (тут лучше говорить: «жир») — обычно с осени закладывался целиком морж. Яма основательно накрывалась — от собак... А «строганина» — это не мясо, это скорее способ приготовления. Бывает и из рыбы — для этого более всего подходит нельма или чир... У нас в Уэлене они не водились, мы делали строганину из оленины. Необходимо был мороз на улице, градусов в 30 — 40, на котором выдерживалось это мясо перед тем, как его строгать... Настругивали тонкими пластинками непосредственно перед подачей на стол, чтоб не успела оттаять. К этому моменту уже должен был быть приготовлен «гуз-лук»: укус, перец, соль, горчица... Всё это особенно хорошо шло под спирт... Поэтому совершенно ещё были необходимы друзья...

Чукчи таким баловством, как строганина, не занимались, мясо они предпочитали варить. И вообще оленей в «мясные ямы» не закладывали... Из моржа, выдержанного в «мясной яме», получался «к'опалгын», что-то типа сброженного, квашенного мяса. В нём, говорят, образовывалась куча необходимых на Севере витаминов. Чукчи и сами его ели, и кормили собак. Я пробовал на Чукотке многое, ел морские водоросли, сырую кожу кита, только вытщенного на берег, мясо кита, печень нерпы, но «к'опалгын», признаться, так и не отважил. Выглядел он аппетитно, но всякую охоту отбивал запах. По этой же, видимо, причине чукчи на дух не переносили нашу квашеную капусту...



С. 324: «...как из *китовой шкуры* делается байдарка...» — Не знаю... Конечно, я не считаю себя таким уж знатоком чукотского быта, всяких трудовых и хозяйственных навыков и проч., и саму *байдару* не довелось застать, её к тому времени, как я приехал, уже полностью заменили вельботы. Вноселдствии, правда, повезло увидеть — на острове Врангеля, у того же Уэльвелькота ещё сохранялась настоящая байдарка, небольшая, размером действительно с «байдарку», на ней вполне можно было плавать одному... Последняя, наверное, байдарка на Чукотке... Обтянута она была *моржовой шкурой*. Причём, как пояснил Уэльвелькот, годился для этого не любой морж, но только моржиха, и не любая моржиха, но молодая. И шкура на покрытие байдары шла не целиком, но её прежде надо было расщепить пополам, «расколоть». Эту работу всегда делали женщины, специальные мастерицы... У Влеонтьева есть подробное описание, как он со своими учениками под руководством Вуквутагина строил в Уэлене байдару для школы, — в нём также речь идёт исключительно о моржовых шкурах...

Ещё, разглядывая байдару Уэльвелькота, я обратил внимание, что наибольший развал бортов у неё не посередине, но смещён к корме, т.е. она походила не на правильный овал, а на удлинённую каплю. При такой форме лучше остойчивость, обтекаемость, меньше сопротивление воды. Те чукчи давно знали то, что современные кораблестроители рассчитывают теперь с помощью формул... Где-то в моих архивах должна быть сделанная мной тогда фотография Уэльвелькота — как этот последний чукча из посёлка в бухте Сомнительная сидит на берегу возле своей, последней, наверное, байдары...

Можно бы найти и ещё кое-какие неточности у авторов статей в «Чукотской литературе». Но в них ли суть?. У меня к этому сборнику отношение, повторяю, своё, личное, — благодаря ему что-то заново вспомнил, захотел ещё раз поделиться какими-то своими старыми, а заодно и новыми соображениями... Как воспримут в наши дни «Чукотскую литературу» остальные 1499 читателей — судить не берусь. Тут можно лишь исходить из надежды, высказанной В.Огрызко по поводу записи его давнего разговора с Тынель о творчестве Кымытваль «Магаданские и московские издатели, — пишет он, — сказали, что с книгой о Кымытваль я опоздал. Мол, теперь это никому не интересно. Но так ли это? Мне кажется, что время Кымытваль — впереди. А значит, моя беседа о её творчестве с Тынель ещё кому-то да понадобится» (с. 375). То же можно сказать и обо всём сборнике «Чукотская литература». И точно с такой же мыслью писал и я свой отзыв об этой книге — авось когда-нибудь кому-нибудь да пригодится.

26 февраля 2008 г.

#### Материал проиллюстрирован фотографиями автора.

Борис Александрович Василевский родился 22 марта 1939 года в Москве. В юности участвовал в строительстве Братской и Усть-Илимской ГЭС. Закончил в 1964 году филфак МГУ. Первую книгу прозы «Где Север?» выпустил в 1974 году. Автор романа «Конечная Земля».